

Б. М. ЗАДОРЖНЫЙ

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Концепция языка как социального явления, обладающего особой, только ему присущей формой существования, способствовала выделению лингвистики в совершенно отдельную и самостоятельную дисциплину и определению ее места среди гуманитарных наук.

В отличие от предыдущих этапов истории лингвистики, язык не рассматривается представителями большинства современных школ в качестве самодовлеющего имманентного объекта, поддающегося изучению при использовании методов, близких методам природоведческих наук прошлого. Этими путями шел не один только А. Шлейхер, находившийся под влиянием дарвиновского эволюционизма, но и по существу вся позитивистская по своей философской природе школа младограмматиков, породившая своеобразный имманентный историзм как методологическую платформу научного языкознания. Нет спора, что на том этапе развития науки такой подход к языковой проблематике был вполне оправданным и перспективным. Деятельность этой школы, несмотря на все ошибки и просчеты, нельзя расценивать иначе, как грандиозный научный подвиг, значение которого невозможно переоценить и влияние которого будет заметным в течение еще долгого времени. Но, с другой стороны, понимание языка как самодовлеющего объекта привело не только к определенному атомизму, но и к таким уродливым извращениям, как концепция К. Фосслера или как шовинистическое по существу учение о «грамматике, направленной на содержание». Представители неоромантического, неогумбольдтианского направления из школы Л. Вейсгербера создают фикцию некоей самостоятельной и роковой «действующей силы», влияющей на мировоззрение и направленность действий того или иного языкового коллектива¹.

Структурное языкознание XX в. определило свое место среди наук гуманитарного цикла благодаря осознанию символического и двойственного характера языкового знака. Это открытие де Соссюра оказалось связующим звеном между языком и его носителем и потребителем — человеком. Именно в плане отношения «язык — человек» выкристаллизировались противопоставления таких понятий, как «сущность — проявление», «инвариант — вариант», «релевантное — иррелевантное». Расширение перспективы исследования от понятия «человек — индивид» к понятию «человек — социальное явление» порождает лингвистическое противопоставление «общее — индивидуальное», или в чисто языковедческой формулировке — «язык — речь». Все это вместе взятое ведет неизбежно к осознанию системного характера языка, наличия ряда взаимосвязанных систем на всех его уровнях. Дальнейший логический шаг — постановка вопроса о сущности и природе языковых систем; это ставит задачу исследовать систему, так сказать, в чистом виде, т. е. в условиях

¹ Ср.: М. М. Г у х м а н, Лингвистическая теория Л. Вейсгербера, сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1969.

отрешенности от всего инородного и несущественного, могущего затемнить или даже исказить перспективу исследования. Здесь источник различных формальных (но не «формалистских» в философском смысле!) методов и приемов языкознания, послуживших между прочим мишенью самых яростных нападков со стороны критиков «справа и слева». Отметим, что путь, по которому движется современная наука о языке, определяется логикой эволюции науки и поэтому закономерен и неизбежен.

На данном этапе мы мало знаем о строении материального субстрата языка — речевых центров человеческого мозга и почти ничего не знаем об их функционировании². Мы только полностью осознали ту истину, что без наличия системы абстрактных лингвистических сущностей человек просто не был бы в состоянии овладеть языком; более того, язык как простая сумма не связанных между собой значащих элементов вообще не мог бы возникнуть. Зарождение языка — это зарождение первого, пусть самого примитивного, семантического противопоставления по крайней мере двух звучащих элементов, объединенных общей основой, т. е. зарождение системы.

На этом уровне пока остановилось синхроническое языкознание. Именно здесь постулат устранения из кругозора исследователя всех экстралингвистических факторов имеет особо сильное звучание³. Что же касается общей (общечеловеческой) лингвистики, то здесь уже сегодня становится возможным (и необходимым) учет следующей характерной черты человеческой психики: восприятие человеком фактов окружающего мира, в том числе и речи собеседника, является активным процессом классификации и абстрагирования; с этим связано выделение человеком отдельных элементов окружения в их соотношениях (контрастирование и приложение определенных, выработанных практикой и отработанных обществом матриц). Все это указывает на абстрагирующий и структурный характер мышления человека и призвано бросить свет на самые существенные, глубинные черты языка. Именно здесь покоятся истоки разрабатываемых сегодня методов порождающей грамматики, т. е. языкознания с позиции говорящего (кодирующего); задачей же будущего остается разработка методов рецептивного языкознания с позиции воспринимающего речь (декодирующего)⁴ с учетом, например, такого исключительно важного фактора, как оперативная память человека.

Таким образом, изучение языка с позиции говорящего и слушающего человека («экспедиента» и «реципиента») — вот в чем сущность лингвистики сегодняшнего дня и ближайшего будущего. Изложенные установки ведут к неизбежному выводу, что основным и ведущим аспектом исследования человеческого языка является аспект функционально-синхронический, позволяющий подойти к нему как к некоей установленной и стабильной данности, т. е. именно так, как он понимается и воспринимается рядовым пользующимся речью человеком.

Здесь, однако, кроются истоки противоположной стороны сущности языка — его вечно изменчивой природы как категории исторического порядка. Только что упомянутый факт подхода человека к языку как к установленному социальному институту (отношение к которому отнюдь

² Относительно связи между явлениями афазии и проблемами лингвистики см. вторую часть книги: R. Jakobson, M. Halle, *Fundamentals of language*, 's-Gra-venhage, 1956 (с литературой вопроса).

³ Этим, конечно, не снимается вопрос о том, где проходит границу между экстра- и интралингвистическими сущностями.

⁴ Библиография по данному вопросу довольно полно собрана в книге: М. Деркач, Р. Гумецкий, Л. Мишин, М. Оверченко, М. Чабан, *Восприятие речи в распознающих моделях*, Львов, 1971.

не ограничивается только лишь потребительским аспектом, но всегда характеризуется в меньшей или большей степени эмоциональной насыщенностью) неизбежно порождает разнообразные тенденции к нормированию языка (в самом широком понимании). Чувство принадлежности к данному коллективу (опять в широком понимании) способствует выработке черт используемого языка (в его звуковом проявлении), общих всем членам данного коллектива, причем черт не только релевантного порядка, существенного для налаживания нормального функционирования языка в обществе, но, конечно, и иррелевантного порядка в сфере языковой избыточности. Именно актуальная и потенциальная избыточность всех уровней является самой гибкой и пластической сферой, где и зарождается большинство языковых изменений и где тенденции к выработке тех или иных норм сказываются с наибольшей силой. Заметим, что нормирование языка — это не только и не столько сознательная кодификация, проводимая признанным в обществе индивидуальными или коллективными авторитетами. Для нас особенно важна и совершенно стихийная регулировка речевой реализации лингвистических систем и их элементов, действующих в данный момент и в данной языковой общности: в разных исторических и социальных условиях эти системы и элементы могут принимать самые разнообразные формы. Так возникает парадоксальная ситуация: языковые изменения происходят именно ради того, чтобы обеспечить неизменность и стабильность языковой нормы как социального института⁵.

Упомянутая стихийная регулировка может, очевидно, осуществляться в двух противоположных способах реагирования на новшества любого уровня: невосприимчивости и, наоборот, восприимчивости. В первом случае любое, зачастую физиологически обусловленное отклонение от привычной нормы в реализации того или иного языкового элемента (от отдельного звука к слову и словосочетанию) вызывает негативную реакцию говорящих⁶. Характерно, что в таких случаях соблюдение рамок нормы остается вне осознанного восприятия, являясь чем-то совершенно нейтральным (мы воспринимаем не аллофоны, а только фонемы, не алломорфы, а только морфемы и т. д.). Только то, что не укладывается в рамки привычного, противоречит установленной норме, вызывает, образно говоря, «зажигание красной лампочки» в сознании окружающих и, как следствие, соответствующую реакцию, которая может получить даже политическое звучание⁷.

Именно таким способом проявляется тенденция к осуществлению стабильности языка данной общности. Но возможен и противоположный случай, выражающийся в готовности к восприятию того или другого новшества. Это бывает, как правило, в первую очередь в случаях появления добровольно признанного авторитета. Низшие слои классового общества или считающие себя таковыми имитируют манеру речи высших слоев, заменяя «неправильные» формы «правильными»; общественно

⁵ Ср. по данному поводу: Л. М. Ск р е л и н а, Некоторые вопросы развития языка, Минск, 1973, в частности стр. 9—11.

⁶ Очень характерной была, например, в первые десятилетия после воссоединения эмоционально-отрицательная реакция прибывших с востока украинцев на корональный способ палатализации переднеязычных согласных (*a', c', ʒa', y'*) в речи жителей западных окраин Галиции (как в польском языке), противостоявшей общеукраинской норме апикальной палатализации. Также и противопоставление указательных местоимений *этот* — *тот*, реализовавшееся раньше многими жителями Западной Украины парой форм *той* — *тамтой* (ср. польск. *ten* — *tamten*), уступает место общеукраинскому *цей* — *той*; но в данном случае имеются признаки компромиссного решения конфликта путем образования трехэлементного ряда *цей* — *той* — *тамтой*, аналогично латинскому *hic* — *ille* — *iste*.

⁷ Насчет «е Saxonium» как «лютеровской ереси» см.: В. М. Ж и р м у н с к и й, История немецкого языка, М., 1965, стр. 83.

признанный культурный центр (внутри или вне данного языкового ареала) оказывает свое влияние на периферию; побежденные считают нужным (и в прошлом зачастую принуждались) говорить так, как победители. Так возникают процессы, обусловленные различными случаями иноязычного влияния⁸, иррадиации, и могущие впоследствии оказать самое существенное влияние на пути дальнейшей эволюции того или иного уровня данного языка. Все это, между прочим, говорит о далеко не безразличном отношении данной общности к своему языку.

«Невосприимчивость» и «восприимчивость» как два противоположных вида отношения к новшествам являются, таким образом, по существу двумя сторонами одного и того же социолингвистического явления, заключающегося в восприятии языка как существенного элемента, характеристики, своего рода «визитной карточки» говорящего индивида, с одной стороны, и данной языковой общности (племени, народа, общественного слоя, класса) — с другой.

Исследуя причины и пути взаимовлияния языков, необходимо, по-видимому, учитывать различные варианты взаимоотношений между различными языковыми общностями. Тут же приходится указать на факты «сильной» и «слабой» позиции контактирующих языков, обуславливающих не столько направление влияния (в первую очередь лексического), как его характер. Мы ограничимся здесь несколькими примерами. Латинское заимствование *Mauer* < *mūrus* в сопоставлении с германским по происхождению словом *Wand* (ср. *winden*) указывает на проникновение слова и понятия (вместе с обозначаемым предметом) из ареала, занимающего (и фактически, и в субъективном восприятии) более высокое культурное положение, чем заимствующая языковая общность. Наоборот, славянский германизм *хыжа* < герм. **xūsa*- в сопоставлении с исконно славянским существительным *домъ* является случаем проникновения («инфильтрации») слова и понятия из ареала, находящегося на более низкой ступени развития (в данном случае — техники строительства), в ареал более высокого состояния культуры, что данной общностью и осознается. В обоих случаях германский ареал занимает «слабую» позицию и в отношении к римскому (латинскому), и в отношении к славянскому ареалам. В результате семантическое и субъективно-оценочное соотношения между членами обеих пар (др.-нем. *mūr* — *want*; слав. *хыжа* — *домъ*) прямо противоположны. В первом случае заимствование выражает понятие, соответствующее предмету более совершенному, чем «свое» исконное слово (*mūr* «капитальная каменная стена», *want* «плетень, обмазанный глиной»); во втором — наоборот, «свое» слово соответствует понятию, характеризующемуся оценочным и, наверно, фактическим преимуществом в сравнении с заимствованием (*домъ* «капитальная стационарная постройка», *хыжа*, *хызь* «землянка, временный шалаш»). Оценочная сторона их семантики не обязательно отражает фактическую ступень развития культуры обеих сторон.

Однако в большинстве случаев направление процессов заимствования идет от ареала, характеризующегося «сильной» позицией, к ареалу со «слабой» позицией. Заметим, что противопоставление «сильный — слабый» не обязательно всегда соответствует противопоставлению «с более высокой культурой — с более низкой культурой». Здесь нередко решающую роль играют различные факторы политического, экономического и, наконец, психологического порядка. Вспомним, например, сложные взаимоотношения между греческой и римской культурами, сложившиеся в результате включения Греции в Римскую империю. Здесь греческий

⁸ В нашем понимании понятие «иноязычный» не обязательно равнозначно понятию «иностраный».

язык (как носитель богатых культурных традиций) не сразу оказался в положении «слабой» позиции. Вспомним также процессы возрождения чешского языка, находившегося во времена австрийской империи на грани полной гибели. Создание усилиями народа «сильной» позиции для этого языка спасло его от полного уничтожения, но не предоохранило от проникновения массы германизмов под видом различного рода калек⁹.

Итак, невосприимчивость (непроницаемость) языка непосредственно зависит от «прочности» позиции, присущей ему в данную историческую эпоху. «Сильная» позиция является, как правило, функцией внешних, экстралингвистических факторов, что и было показано выше. Только в самых исключительных случаях языковая непроницаемость обеспечивается морфологическим или даже фонетическим своеобразием, т. е. интралингвистическими факторами. Нам известен только один язык этого рода — исландский, морфологический строй которого является преградой, стоящей на пути проникновения иноязычного лексического влияния¹⁰. Но любопытным примером своеобразного сопротивления иноязычному влиянию может послужить и древнегреческий язык, который, хотя в самые древние времена и находился в известной степени на «слабой» позиции в отношении таких языков, как древнеегипетский¹¹ и ассирийско-вавилонский, фонетически и морфологически трансформировал заимствования таким образом, что они предстают перед нами как исконно греческие слова. Вспомним, например, имя богини Ἀφροδίτη (по народно-этимологическому толкованию «созданная из пены», ἀφρογενής), происшедшее из семитического *Astoreth*¹². Точно так же и семитическое по происхождению существительное γῆς не отличается по своему составу ничем от исконно греческого γῆς «земля»¹³. Только в текстах из значительно более поздних эпох (например, в «Novum testamentum») мы находим ряд заимствованных нарицательных слов и имен, распознаваемых с первого взгляда как негреческие (*hyssop*, *Mariam*).



Таким образом, если синхроническое описание языка предполагает почти исключительно интралингвистический подход¹⁴, то диахроническая точка зрения требует постоянного учета самых разнообразных экс-

⁹ Калькирование с немецкого языка продолжается в известной мере по сегодняшний день; ср. немецкий язык *Eintrittskarte* — *Fahrkarte* — *Flugkarte* с соответствующим чешским: *vstupenka* — *jízdenka* — *letenka*.

¹⁰ Ср.: Э. Вессен, Скандинавские языки, М., 1949, стр. 62—65; М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, М.—Л., 1953, стр. 299—301.

¹¹ См.: П. В. Ерништедт, Египетские заимствования в греческом языке, М.—Л., 1953 (с литературой вопроса).

¹² Такое «вуалирование» заимствований — явление, кстати, довольно обычное и объясняется в первую очередь необходимостью «приноровить» фонетический и морфологический состав заимствований к системе воспринимающего языка, и кроме того, тенденцией создать для нового слова какую-то свою «внутреннюю форму». Однако степень преобразования иноязычных слов в древнегреческом языке так значительна и своеобразна, что невольно возникает вопрос: не связано ли это с психологически-эмоциональным фактором сознательного противопоставления своего греческого племени всем другим (Ἕλληνες — βαρβαροι) с ярко выраженной оценочной окраской?

¹³ См.: E. Boisacq, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 2-e éd., Heidelberg — Paris, 1923.

¹⁴ Но и здесь имеются свои ограничения. Достаточно обратить внимание на известное положение общей фонологии, заключающееся в том, что дифференциальные возможности гласных убывают с ростом их открытости. Ср. также случаи совпадения результатов палатализации небных и переднеязычных согласных в синхронном плане, что ведет к омофонии аллофонов — реализаторов различных фонем.

тралингвистических факторов в их взаимоотношениях с интралингвистическими процессами и тенденциями.

Ниже будет сделана попытка показать на материале преимущественно из истории немецкого и английского языков случаи взаимодействия экстра- и интралингвистических факторов в различных сферах языка.

Вопросы лексического взаимодействия языков и диалектов разработаны на материале немецкого и других германских языков, пожалуй, самым тщательным образом в работах Т. Фрингса и его школы. В четырех сборниках его работ, вышедших под названием «*Sprache und Geschichte*» [Halle (Saale), 1956], а также в труде «*Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache*» [Halle (Saale), 1957] мы находим массу интереснейших сведений как о лексическом взаимовлиянии диалектов, так и о вхождении в немецкий (и другие германские языки) понятий и слов из языков окружающих культурных сред (преимущественно латинского и романских языков). Но выдающегося немецкого исследователя, по-видимому, не занимали вопросы внутриязыковой «готовности» к восприятию этих заимствований, или же, наоборот, внутриязыкового сопротивления, противодействия вхождению в лексический состав иноязычных слов. Остается, например, непонятным, почему языки древнегерманских скотоводческих племен и народностей вдруг ощутили необходимость (если таковая вообще имела место) в заимствовании слова *Butter* и *Käse* (греч.-лат. *būtȳrum*, лат. *caseus*), а через несколько столетий и слов *Quark* (< польск. *twaróg*) и *Schmetten* (< зап.-слав. *smetana*). Неразрешенным остается вопрос и о факторах, определяющих пути создания в древнегерманских языках слова-термина для обозначения проникшей с юга новой техники писания с применением чернил. В готском языке был переосмыслен глагол *meljan* с не совсем ясным первичным значением (от *mel* «знак»: «обозначать при помощи рисунка; рисовать» и т. д.¹⁵), в немецкий и англо-саксонский был заимствован латинский глагол *scribere* (причем в английский язык, очевидно, позднее, чем в немецкий, что явствует из фонетического облика: др.-англ. *scrifan* > совр. англ. *shrive* с результатом романского фонетического процесса: *-b- > -v-*). Это латинское слово сразу же вступает в конфликт с исконным германским сильным глаголом **writan* «вырезать (руны)», однако исход конфликта иной в немецком языке, чем в английском. В первом случае побеждает заимствование; в современном немецком языке понятие «писать» передается глаголом *schreiben*; **writan > reissen* переходит в другой семантический круг (смутное воспоминание о былой сфере его употребления сохраняется лишь в образованиях *Reissfeder* и *Reissbrett*)¹⁶. В английском же языке все произошло в обратном направлении. Исконно германский глагол *writan* > совр. англ. *write* сохраняет первоначальное значение «писать», несмотря на изменение технической стороны этого действия; глагол же *shrive*, находившийся уже в момент своего хронологически относительно позднего попадания в английский язык в слабой позиции по отношению к *write*, очутился на периферии английского лексического состава: в др.-англ. *scrifan* выражал специфицированное значение «предписывать (покаяние)», а в совр. англ. *shrive* означает «отпускать грехи».

¹⁵ См.: W. Streitberg, Die gotische Bibel, Zweiter Teil: Gotisch—griechisch—deutsches Wörterbuch, 2. Aufl., Heidelberg, 1928, стр. 93; F. Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1934, стр. 70. Кстати, подобную семантическую эволюцию проделал и русский глагол *писать* (ср. *пестрый, пест*), см.: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, III, М., 1971, стр. 266.

¹⁶ F. Kluge — W. Mitzka, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 20. Aufl., Berlin, 1967.

Не менее интересным было бы сравнительное изучение исторических судеб глаголов, выражающих понятие «читать» — нем. *lesen* и англ. *read* (ср. нем. *raten*), учитывая, что первый представляет собой семантическую кальку лат. *legere*.

Вопросами взаимодействия исконной и заимствованной лексики в структурном плане занимался в своей книге В. В. Мартынов¹⁷. Несмотря на ряд спорных этимологических построений¹⁸, эта работа примечательна широкой постановкой вопроса о структурных последствиях попадания иноязычного слова в данную лексическую систему; в ней показаны многие случаи семантического контрастирования (поляризации) пар лексем, первично синонимичных, из которых одна исконного происхождения, вторая же является заимствованием (точнее — «инфильтрацией») из другого языка. Но возможны и противоположные явления (касающиеся в данном случае обозначающей стороны языкового знака) — процессы вторичной омонимизации при условии вхождения соответствующих лексем, обладающих различающимися формами своего фонетического облика [заимствование: исконное слово, например, англ. *pit* «колодец» < лат. *puteus*: *pit* (амер.) «косточка во фрукте» (возможно, от *pip* < *pippin* — французского происхождения), или оба заимствованные], в различные, не соприкасающиеся в синтагматике семантические сферы. В этой связи поучительной является судьба двух латинских глаголов, заимствованных в немецкий язык: *constāre* «стоять (деньги)» и *gustāre* «пробовать (на вкус)»¹⁹. Оба получили в немецком языке звучание *kosten*. Омонимия обоих глаголов сохраняется и в польском языке, куда они попали из немецкого: *kosztować*. Но в украинском, заимствовавшем эти глаголы из польского, произошла вторичная их дифференциация: *коштувати* («constāre»: *куштувати* «gustāre») (в неудачном положении дисперсионные поля реализаций украинских фонем /о/ и /у/ пересекаются).

Таким образом, различные формы взаимодействия экстра- и интралингвистических факторов в сфере лексической системы языка вполне очевидны.

Более сложными являются вопросы о действии экстралингвистических факторов в категориальной (грамматической) и асемантической (фонематической) сферах языка. Имея в виду различные случаи взаимовлияния языков и оставая в стороне мысли Н. С. Трубецкого и других относительно «языковых союзов», а также теорию «звукосимволизма» (которые уже по постановке вопроса не входят в рамки данной работы), отметим, что здесь немаловажную, хотя и не всегда решающую роль играет фактор степени родства контактирующих языков (диалектов, говоров). Это касается не только грамматической (морфологической) и фонетической сфер языка, но и фактов конвергенции «внутренней формы» языка в условиях ощутимого сохранения его «внешней формы». Необходимой предпосылкой проникновения иноязычных элементов в грамматический и фонематический уровни языка является также двуязычие, охватывающее достаточно

¹⁷ В. В. Мартынов, Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры, Минск, 1963, в частности, стр. 20—42. Интересный материал, иллюстрирующий факты славянского лексического влияния на немецкий язык, находим в книге Е. В. Опельбаума «Восточнославянские лексические элементы в немецком языке» (Киев, 1971).

¹⁸ Ср. нашу рецензию на труд В. В. Мартынова («Иноземна філологія», 21, 1970).

¹⁹ Второй глагол рассматривается в этимологическом словаре Клуге — Мицка как исконное германское слово (стр. 397). Но первичное значение герм. корня **keus-/kus-* (<и.-е. **geu-, geus-*) было «выбирать» (ср. гот. *kisan, kustus* и т. п.). Значение же «пробовать на вкус» древнегерманский глагол *kostōn* приобрел скорее всего под влиянием соответствующего латинского. Обращает на себя внимание факт включения его во второй класс слабых глаголов, что характерно для заимствованных из латыни глаголов на *-āre* (ср. *saltāre* > *salzōn*, *tractāre* > *trahtōn*, *ordināre* > *ordinōn* и ряд других).

широкие круги данной общности²⁰. Языковая среда, привыкшая к особенностям адстрата, оказывающего влияние на ее язык, перестает остро реагировать на попадающие оттуда в заимствующий язык элементы. Это верно в первую очередь в отношении синтаксического и, во вторую, в отношении фонетического уровней. В условиях довольно близкого родства контактирующих языков наблюдается заимствование различного рода «служебных» слов (например, из русского в украинский), а также сохранение общих архаических явлений, вышедших из употребления в других частях данного ареала²¹.

Важным фактором, делающим возможным проникновение в язык чуждых элементов (кроме культурных заимствований), является сам факт существования языковой избыточности (на уровнях как языка, так и речи) и различные ее внутренние отношения. Избыточность — это качество суммы языковых средств, которое дает возможность понять и раскрыть внутреннюю мотивировку процессов проникновения инородных элементов в различные сферы языка. Именно здесь находятся источники, образно говоря, «резонанса», возникающего в воспринимающем языке и стимулирующего не столь возникновение, сколь усиление, акцентирование, в некотором смысле осознание элементов, находившихся раньше где-то на периферии языка, или даже только в сфере языковой потенции.

Именно таким путем проникают в язык синтаксические заимствования. Покажем это на одном примере. Конструкция «винительный с инфинитивом», играющая в современном немецком языке некоторую роль, попала туда из латинского в начале исторического бытия этого языка и получила особенно широкое распространение в сочинениях Ноткера Немецкого и его школы (X—XI вв.). Однако возможность заимствования была как бы «подготовлена» наличием в древненемецком языке автохтонного трехчленного сочетания «винительный (реже: именительный) с причастием», причем, как известно, винительный падеж выступал после финитного глагола в активном залоге [*fand sia drūrenta* (Отфр. 1, 5, 9) «нашел их скорбящими»], а именительный — в пассивном [др.-англ. *þā wæs hāten hreƿe Heort innanweard folmum gefrætƿod* (Beow. 991—992) «тогда было приказано быстро руками разукрасить хоромы»]. В тексте древненемецкого «Исидора» зафиксирован интереснейший случай контаминации обоих вариантов, в результате которой в пассивном безличном обороте выступает винительный: *ist hear offono araughit ziuuare Christan iu chiboranan ioh chimartorodan* (Isidor, V, 8) — лат. *Christus natus et crucifixus demonstratur*. Нет сомнения, что подобные явления служат выражением стремлений переводчика «приноровить» немецкий синтаксис к структуре латинского оригинала, не выходя в языке перевода за рамки дозволенного, хотя и сугубо маргинального²². Бросается в глаза близость данной др.-в.-нем. конструкции к латинскому обороту «винительный с инфинитивом». Ведь достаточно в конце предложения поставить форму *uiesan*, чтобы немецкая конструкция превратилось в точную копию латинского *accusativus cum infinitivo* (*Christan iu chiboranan ioh chimartorodan uiesan*). Вот почему в этом же тексте, характеризующемся превосходным и оригинальным стилем и сохранением духа древненемецкого языка, мы все-

²⁰ Для лексического заимствования двуязычие является решающим в случае процессов «инфильтрации».

²¹ Ср. западноукраинскую форму будущего времени *я буду читав*, -ла, и польск. *będę czytał*, -ła, а также форму прошедшего времени *читав* 'ем и польск. *czytałem*.

²² Заметим, что такие конструкции с винительным после пассивного глагола без выраженного агенса возможны и в современном украинском языке: *В лісі було найдено малу дитину*.

таким образом находим и такие примеры, как: *ir almahtic got sih chundida uuesan chisendidan fona dhemu almahtigin fater* (лат. *qui omnipotens deus a patre omnipotente missum se esse testatur*) — Isidor, III, 9.

На близость латинского «винительного с инфинитивом» и германского «винительного с причастием» указывает один любопытный случай перестроения одной конструкции в другую, выступающий параллельно и в древнегерманском «Исидоре», и в готском переводе Библии: ср., с одной стороны, др.-в.-нем. *dhazs iu azs ant uuerdin chisehet arfullit wordan* (лат. *quod iam obtutu cernitur fuisse completum*) — Isidor, 43, 4—6, и, с другой стороны, гот. *hvan filu hausidedum waurfan in Kafarnaum* — Лус., IV, 23.

В дальнейшем возможна и контаминация германской конструкции «винительный с причастием» с заимствованной «винительный с инфинитивом». Пример такой контаминации находим в тексте древнеанглийского «Беовульфа»: *gif hē wæccende weard onfunde bīon on beorge* (Beowulf, 2841—2842). Эта конструкция, называемая Г. Паулем ἀπο κοινοῦ, разлагается на два составных компонента: 1) *gif hē onfunde weard wæccende* и 2) *gif hē onfunde weard bīon on beorge*. Заметим, что именно такая интерпретация соответствует коммуникативной интенции данного текста. В переводе лучше всего передать это место следующим образом: «Если он найдет, что сторож, живущий на горе, бодрствует».

Все это говорит о легкости, с которой заимствованный оборот был воспринят германским синтаксисом и вместе с тем раскрывает роль, которую в процессе заимствования сыграла сфера языковой избыточности.

Это же может касаться и путей эволюции морфологического уровня. Здесь также возможны случаи переноса отдельных явлений из языка в язык, однако лишь в условиях родственности адстратов²³. Укажем на эволюцию морфологического противопоставления мн. числа ед. числу в спряжении английского глагола. Речь идет об изъявительном наклонении настоящего времени и — в пределах ед. числа — о форме 3-го лица.

Как известно, эволюция формального противопоставления мн. числа ед. числу в восточно-центральной, позже лондонской, диалекте английского языка шла следующими путями: 1) др.-англ. *bindeþ* : *bindaþ*; 2) ранне-ср.-англ. *bindeth/bindes*²⁴ : *bindeth*; 3) средне-ср.-англ. (Чосер) *bindeth/bindes* : *binde(n)/bindeth (bindes)*; 4) новоангл. *binds/bindeth* : *bind*²⁵.

Омонимизация форм ед. и мн. чисел в южноангл. говорах (*bindeth* — *bindeth*) — результат, как хорошо известно, эволюции безударного вокализма; по-видимому, и северноанглийская пара омонимов *bindes*—*bindes* возникла подобным же путем. Таким образом, эти явления — следствие действия интралингвистических факторов. Также и перенос окончания мн. числа *-en* из сослагательного (желательного) наклонения в изъявительное в центрально-английском можно считать интралингвистическим явлением. Но при создании противопоставления *bindes* : *binden* (совр. англ. *binds* : *bind*) действовали силы как экстралингвистического порядка, выражающиеся в конфронтации разных диалектных ареалов английского языка: северного (*binds*) и центрального (*bind*), так и интралингвистическая тенденция поляризации двух форм. Однако создание таким путем

²³ Что касается таких случаев, как, например, оформление дательного падежа немецкого причастия по образцу латинского третьего склонения в тексте древнегерманского произведения Отфрида Вейсенбургского: *gote helphante* (Otf. V, 25, 7) (ср. лат. *ablatus absolutus: deo adjuvante*; соответствующая др.-в.-нем. форма — *helphantem*), то они остаются вне нашего поля зрения.

²⁴ В случаях наличия вариативности форма, находящаяся слева от черточки, является более употребительной, чем ее другой вариант.

²⁵ Современная просторечная форма мн. числа *binds* не учитывается.

различия между двумя числами нельзя считать выражением абсолютной необходимости. В языке типа английского, требующем реализации при глагольном сказуемом подлежащего, нет необходимости в формальном выражении категории числа в спряжении глагола. Ведь, как только что упоминалось, и в южных, и в северных говорах английского языка такого различия нет; нет его и в нижненемецких говорах (*bindet : bindet*). Вызванный поляризацией контраст *he binds : they bind* является, таким образом, по существу гиперхарактеризацией противопоставления по линии категории числа, т. е. относится к сфере языковой избыточности.

В области звуковых ресурсов языка иноязычное влияние, так же как и в синтаксисе, возможно на первых порах только в тех случаях, когда имеются условия, способные вызвать соответствующий «резонанс» в фонологической системе воспринимающего языка. Если этого нет, то инородные фонетические элементы остаются где-то на периферии системы или вообще вне ее пределов и в большинстве случаев субституируются какими-то другими, более или менее похожими элементами своей системы. До сих пор фонетические единицы *f* и *g* остались чуждыми большинству украинских говоров (за исключением западных); фонема /ʒ/ не вошла в состав немецкой фонологической системы; здесь и источник субституций: ср. укр. *Панас*; *геній* /h-/, нем. (просторечн.) /ʒurnal/ вместо /ʒ-/ ²⁶ и т. п.

Однако в тех случаях, когда данная фонема все-таки имеется в системе воспринимающего языка, иноязычное влияние может сказаться на изменении ее дистрибуции, на модификации ее системных связей, ее утверждении в системе.

В свое время мы писали о роли французских заимствований в процессе упрочнения фонемы /dʒ/ в системе английского языка ²⁷. Можно указать и на сочетание фонем *sk*, являющееся признаком английских слов скандинавского происхождения ²⁸. Точно так же и в немецком языке находящиеся в начальном положении аффриката *pf* и фонема, обозначаемая буквосочетанием *ch*, являются признаками слов иностранного происхождения. Таким путем аффриката *pf* была противопоставлена целевому согласному *f* в начальном положении (*Pfahl : fahl*, *Pfeil : feil*, *Pflug : Flug* и т. д.), так же, как и в других позициях (*hopfen : hoffen* и т. п.), в результате чего образовалась эквиолентная оппозиция обеих фонем.

Сложнее обстоит дело с фонемой, обозначаемой как *ch* ²⁹. В начале слова она возможна только в иноязычных словах, причем, если следовать за «Словарем немецкого произношения» 1964 г. ³⁰, она реализуется в данной позиции посредством двух аллофонов: /x, ç/. Но сущность распределения обоих вариантов по данным этого словаря совершенно неясна, так как фонетическое окружение в обоих случаях идентично: в словах *Charkow*, *Cherson* ³¹, *Chintschin*, *Chlestakow*, *Choresm* рекомендуется произ-

²⁶ С фонологической точки зрения субституция — не что иное, как включение данного иноязычного звука в дисперсионное поле аллофонов одной из фонем воспринимающего языка.

²⁷ См.: Б. М. Задоржний, Питання зв'язку синхронного та діакронного методів при вивченні історії мови, «Іноземна філологія», 10, 1966, стр. 13.

²⁸ В отдельных случаях *sk* может находиться и в словах, происходящих из других языков, ср. глагол *bask* (из исландского; *-sk* — агглютинированное возвратное местоимение *sik*), этноним *Basque* и суш. (видимо, франц. происхождения) *basket*.

²⁹ Из рассмотрения исключаются, конечно, итальянские, французские, испанские и английские слова, начинающиеся с /k/, /ŋ/, /tʃ/. Исключаются также слова, в которых *ch* отображает результат эволюции *x > k* (*Chor*).

³⁰ См.: «Wörterbuch der deutschen Aussprache», von einem Autorenkollektiv unter Leitung von H. Krech, Leipzig, 1964.

³¹ По словарю «Der Grosse Duden, Rechtschreibung» (15 Aufl., Leipzig, 1957), топонимы *Charkow*, *Cherson* произносятся с /ç/. Три следующих слова в данном издании

носить [x], а в словах *Charis, Chersones, China, Chlamys, Choreus* — звук [ç]. Исходя из того факта, что в словах, сравнительно давно попавших в немецкий язык и в известном смысле прошедших процесс языковой ассимиляции, почти без исключения рекомендуется произносить [ç] (*Chalcedon, Charybdis, Cheiron, Chemie, Cherub, Chiasma, Chinin, Chirurgie, Cholesterin, Chrisma, Chrysantheme*), а также основываясь на собственных наблюдениях, нам представляется возможным сделать предположение, что появление [ç] в начале слова является системным явлением, соответствующим своеобразию немецкого консонантизма. В связи с этим становится ясной возможность появления [ç] и в составе суффикса *-chen*, несмотря на качество предыдущего звука (*Papachen, Frauchen, Kuhchen*). Дело в том, что позиции появления [ç] в их общей сложности нужно считать фонетически немотивированными в отличие от мотивированных позиций появления «напарника» этого звука — согласного [x]. Все эти соображения позволяют в новом свете поставить вопрос о фонемном статусе обоих рассмотренных фонических единиц. Скорее всего мы являемся свидетелями завершения процесса фонематизации двух бывших аллофонов единой фонемы и становления их фонологического противопоставления по привативной оппозиции (с [x] в качестве маркированного члена). В начале слова устанавливаются, между прочим, фонологические отношения данной фонемы с согласными, выступающими в той же позиции: в первую очередь с фонемой /j/, а также с /h/ (*chemisch : hämisch : jemine*). Роль, которую в описанных процессах сыграли иноязычные слова, очевидна.

Осталось еще обратить внимание на процессы общезыковой конвергенции, являющейся следствием различных факторов экстралингвистического порядка (экономических, политических, культурных и проч.). Выше мы указывали на возможность изменения «внутренней формы» языка (диалекта), находящегося в более слабой позиции по отношению к другому при сохранении (хотя бы частичном) его «внешней формы», имея при этом в виду исторические судьбы языка древних саксонских племен, превратившегося впоследствии в нижненемецкий диалект. Как мы писали в другой своей работе, «...один язык становится диалектом другого родственного языка, если все его системы (лексико-семантическая, синтаксическая, словотворческая и фонологическая), сохраняя внешне (фонетически и морфологически) свою специфику, становятся в значительной мере как бы зеркальным отражением господствующего языка (диалекта). Семантические поля слов „конвергирующего“ диалекта начинают совпадать с полями слов господствующего языка; теряется самобытность синтаксических конструкций и лексических сочетаний; возникают широкие возможности „скрытого“ заимствования у господствующего языка путем „перевода“ слов на фонетическую систему конвергирующего диалекта»³².

Изучение взаимодействия интра- и экстралингвистических факторов в процессах становления того или иного конкретного языка и познание общезыковых закономерностей языковой эволюции — одна из основных задач диахронической лингвистики, ориентированной на говорящего человека³³. Поиск «внутренних законов развития» языковых систем внутри отдельных ярусов и на их стыках является, несомненно, необходимой частью исследовательской работы историка языка, но, как было показано

не регистрируются. Кстати, разноречие между этими двумя словарями по распределению начальных /ç/ и /x/ весьма значительный.

³² См.: «Вестник АН СССР», 1965, 4, стр. 131.

³³ Ср. в несколько ином плане работу Р. А. Будагова «Проблемы развития языка» (М.—Л., 1965). См. также: J. V a c h e k, On the interplay of external and internal factors in the development of language, «Lingua», 11, 1962.

на ряде примеров, такая работа может считаться завершенной, если становится в той или иной мере ясной конкретная картина языковой действительности, чего достичь без учета внешних факторов просто невозможно. Это ощущается особенно резко в отношении к современным литературным языкам, являющимся переплетением результатов действия самых разнообразных и разнородных действующих сил внутреннего и внешнего порядка. Одним из самых ярких примеров, подтверждающих данное положение, является современный немецкий язык. Если языковые факты, извлекаемые из глубин его истории, например, процессы первого передвижения согласных, допускают ограничение их толкования сугубо имманентными внутрисистемными факторами, то изучение второго передвижения не может не учитывать наряду с таковыми в равной мере и внешних исторических событий, стимулировавших процессы «верхненемецизации» ряда немецких диалектов, что в свою очередь оказало непосредственное воздействие на формирование того же самого немецкого литературного языка.

Исходя из того, что основной задачей языкознания является определение языковых систем и условий их функционирования в общественной среде и вместе с тем исследование проблем порождения языковых сообщений (контекстов) в генетическом и функциональном планах, мы еще раз подтверждаем мысль, высказанную выше, что центральным и ведущим аспектом языковедческих исследований является аспект синхронический. Языковая диахрония — это последовательность синхронических состояний, связанных между собой различными проявлениями эволюционной динамики. В этом смысле она — нечто производное от языковой статики в вышеизложенном понимании, т. е. результат действия факторов, зарождаемых внутри языковых систем на данном синхронном срезе, или, иными словами, напряжений, возникающих между составными частями систем и между системами в целом, что ведет к нарушению внутрисистемного равновесия. К этому присоединяются, как было показано, и различного рода экстралингвистические факторы. Но в условиях ретроспективной ориентировки исследователя данные, добытые им путем исторической трактовки материала, могут бросить свет на природу исходного, т. е. более древнего состояния языка. Так, например, факт избыточности фонологических различий среди неударных гласных древненемецкого языка всплывает в эпоху становления языка средневерхненемецкого периода, когда был завершен процесс окончательной количественной и качественной нивелировки безударных гласных в результате устранения фонологических противопоставлений между ними. Таким образом, глубинное системное состояние языка данной эпохи раскрывается перед нашими глазами, когда мы в состоянии сопоставить его с состоянием последующей исторической эпохи.

Вот почему старое латинское изречение *historia magistra vitae* остается в силе и в настоящее время. История языка, это как будто огромный экспериментальный полигон, на котором осуществляются тенденции, являющиеся выражением самой внутренней сущности всех составных частей языка.